

Эрнст  
Юнгер



The BEST

## Стеклянные пчелы

[ роман ]



XX век / XXI век – The Best

Эрнст Юнгер  
**Стеклянные пчелы**

«Издательство АСТ»

1957

УДК 821.112.2-31  
ББК 84(4Гем)-44

## **Юнгер Э.**

Стеклянные пчелы / Э. Юнгер — «Издательство АСТ»,  
1957 — (XX век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-107086-1

«Стеклянные пчелы» (1957) – пожалуй, самый необычный роман Юнгера, написанный на стыке жанров утопии и антиутопии. Общество технологического прогресса и торжество искусственного интеллекта, роботы, заменяющие человека на производстве, развитие виртуальной реальности и комфортное существование. За это «благополучие» людям приходится платить одиночеством и утратой личной свободы и неподконтрольности. Таков мир, в котором живет герой романа – отставной ротмистр Рихард, пытающийся получить работу на фабрике по производству наделенных интеллектом роботов-лилипутов некоего Дзаппарони – изощренного любителя экспериментов, желающего превзойти главного творца – природу. Быть может, человечество сбилось с пути и совершенство технологий лишь кажущееся благо? В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.112.2-31  
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-107086-1

© Юнгер Э., 1957  
© Издательство АСТ, 1957

## Содержание

1	6
2	11
3	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# **Эрнст Юнгер**

## **Стеклянные пчелы**

Ernst Jünger  
Gläserne Bienen

© Ernst Jünger, Gläserne Bienen. Sämtliche Werke (PB) vol. 18, p. 421–559, Klett-Cotta, Stuttgart, 2015

© Klett-Cotta – J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart, 1957

© Перевод. А. Кукеc, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

\* \* \*

## 1

Когда становилось плохо, за дело брался Твиннингс. Я сидел у него за столом. На этот раз я затянул, давно надо было к нему обратиться, но несчастье крадет у нас силу воли. Торчишь в кафе, пока не кончится вся мелочь, потом бессмысленно шатаешься по округе и только воздух дырявишь. Полоса невезения не желала заканчиваться. У меня оставался еще один костюм, в котором можно было показаться на глаза людям, зато ногу на ногу класть было нельзя: подошвы протерлись до самых стелек. В таком положении предпочитаешь одиночество.

С Твиннингсом мы служили в легкой кавалерии, он прирожденный услужливый посредник, мастер сводить людей. Много раз помогал мне советом и делом, как и другим нашим товарищам. У него были хорошие связи. Он меня выслушал и дал понять, что я могу рассчитывать только на такие должности, какие соответствуют моему положению, то есть на те, где есть какая-то загвоздка или подвох. Ну что же, он прав, в моем положении выбирать не приходится.

Мы были дружны; впрочем, Твиннингс дружил со всеми, кого знал и с кем не успел рассориться. Такое уж у него было ремесло. Со мной он не церемонился, но меня это не обижало. Скорее, я относился к нему, как к врачу, который обследует пациента и не болтает лишнего. Он схватил меня за отворот пиджака и пощупал материал. Я заметил, что на ткани остались пятна, я как будто стал острее видеть.

Он стал в мелочах выяснять мои обстоятельства. Меня сильно потрепало, я многое повидал, но так ничего особенно и не нашол, никакой ценной профессии, честно сказать. Лучшие должности – это те, что приносят большой доход, а работать при этом не надо, и все тебе завидуют. Но разве у меня была влиятельная респектабельная родня, как, например, у Паульхена Доманна, у которого тесть строил локомотивы и за одно утро зарабатывал больше, чем иные за год, впахивая без выходных. Чем крупнее объекты, на которых работаешь, тем меньше с ними возни: локомотив продать легче, чем пылесос.

Был у меня дядюшка-сенатор. Давно помер и забыт. Отец прожил тихую чиновничью жизнь, скромное наследство давно растворилось. Женился я на бесприданнице. Мертвый сенатор и жена, которая сама открывает дверь, когда звонят, – с этим империи не построишь.

А есть должности, где надо вкалывать, не рассчитывая на большую прибыль. Можно ходить от дома к дому и продавать стиральные машины или холодильники, пока не начнет тошнить от каждой следующей двери. Можно раздражать старых товарищей, напрашиваясь в гости, уничтожая их запасы и выпивая все мозельское. Твиннингс улыбался и не обращал на это внимания, спасибо ему. Он мог бы меня спросить: неужели я не научился чему-нибудь полезному? Хотя ведь знал, что я служил в танковой инспекции, но знал так же и о том, что я там числился в черных списках. Я об этом еще расскажу.

Остались занятия рискованные. Можно удобно устроиться, наладить жизнь, но потерять спокойный сон. Твиннингс вкратце перечислил варианты: речь шла о работе вроде бы полицейским. У кого нынче нет своей полиции? Времена беспокойные. Приходится охранять жизнь и имущество, поместья и перевозки, отражать шантажи и нападения. Бесстыдство росло пропорционально филантропии. Ни одна знаменитость не могла больше рассчитывать на защиту общества, необходимо было иметь в доме собственную палку.

Но и здесь спрос превышал предложение. Хорошие места уже были заняты. Друзей у Твиннингса было много, а для солдат времена были тяжкие. Была леди Бостен, чудовищно богатая и еще молодая вдова, которая тряслась над своими детьми, особенно после того, как отменили смертную казнь за похищение ребенка. Но ее Твиннингс охраной уже обеспечил.

Был еще Престон, нефтяной магнат, одержимый любовью к лошадям. Он вкладывал в свои конюшни миллионы без счета, как старый византиец, лошадепоклонник, который ради удовлетворения своей страсти ни перед какими тратами не остановится. Лошади у него содер-

жались, как боги. Каждому надо на чем-то душу отвести. Престон счел лошадей более подходящими для этого, нежели флот из танкеров и лес из буровых вышек. Лошади его окрыляли. Но и хлопот с ними не оберешься. В конюшне, при перевозке, на скачках нельзя глаз с них спускать. Тут и сговор жокеев, и зависть дураков соперников, и все страсти, связанные с крупными пари и соревнованиями. Ни одну диву так не охраняют, как скаковую лошадь, которая должна взять первый приз. Это работа для старого кавалериста, влюбленного в лошадей и знающего их, как родных. Но это место занял уже Томми Гилберт и половину своего эскадрона устроил. Престон держался за них обеими руками.

На Ронд-Пойнт одна богатая шведка искала телохранителя. У нее их уже много побывало, она так оберегала свою добродетель. Но чем строже вновь нанятый относился к своим должностным обязанностям, тем неизбежнее дело заканчивалось отвратительным скандалом. Женатых на эту работу вообще не брали.

Твиннингс перечислял все эти должности одну за другой, как повар зачитывает меню десертных блюд. У всех посредников такая своеобразная черта. Он старался разжечь мой аппетит. Наконец перешел к конкретным предложениям, и можно было поспорить: уж тут подвох на подвохе!

Джакомо Дзаппарони, пока еще не знающий счета своим капиталам, хотя еще его отец с дорожным посохом в руках пересек Альпы. Не было ни единой газеты, ни одного журнала, ни одного экрана, с которого бы не звучало его имя. Его заводы располагались неподалеку. Он стал монополистом благодаря собственным изобретениям и интерпретациям чужих.

Журналисты плели небылицы обо всяких штуках, что он производил. Кто имеет, тому да будет дано: может, все нафантазировали. Заводы Дзаппарони производили роботов любого назначения, по индивидуальному заказу и стандартные модели, которые можно увидеть в любом хозяйстве. Речь шла не о крупных автоматах или станках, как можно было бы подумать. Дзаппарони специализировался на роботах-лилипутах. За редкими исключениями, его аппараты не превышали по размерам арбуза, в обратную сторону его изобретения уменьшались до крошечных размеров и походили на китайские редкие безделушки, на интеллектуальных муравьев, действовавших всегда сплоченными подразделениями в определенном механизме, но не на молекулярном уровне. Таковы были коммерческие принципы Дзаппарони, если угодно, его правила игры. Порой казалось, будто он любой ценой из двух решений выбирает самое утонченное и рафинированное. Но такова была суть времени, а уж он-то умел подстроиться под любую эпоху.

Дзаппарони начинал с крошечных черепашек, которых называл селекторами и пускал в дело, когда речь шла о тончайшем отборе. Они считали, взвешивали и сортировали драгоценные камни или банкноты, попутно выявляя фальшивки. По тому же принципу работала его техника и на опасном производстве, на испытаниях взрывчатых веществ и заразных, ядовитых субстанций. Целый рой таких селекторов не только улавливали и фиксировали мельчайшие очаги возгорания, но и тут же их тушили. Другие запаивали разрывы в проводах, третьи вообще питались сором и грязью и были незаменимы для идеальной уборки.

Дядюшка мой, сенатор, при жизни страдавший сенной лихорадкой, мог больше не утруждать себя поездками в горы, после того как в продаже появились селекторы Дзаппарони, натасканные на поглощение пылицы.

Аппараты Дзаппарони скоро стали незаменимы не только для промышленности и науки, но и для домашнего хозяйства. Они экономили рабочие силы и сделали технику одушевленной, какой ее прежде никто не знал. Изобретательный ум нашел свою нишу, которую никто до сих пор не обнаружил, и освоил ее. Именно таким способом делается самый успешный и крупный бизнес.

Твиннингс намекнул, в чем у Дзаппарони загвоздка. Точно никто не знал, но примерно можно было вычислить. Неприятности с рабочими. Когда хочешь заставить материю мыслить,



без оригинальных умов не обойтись. Да еще эти крошечные масштабы. Должно быть, поначалу создать кита было проще, чем колибри.

На Дзаппарони трудился целый клан превосходных специалистов. Фабрикант любил более всего, когда изобретатели, принесшие ему разработанную модель, поступали к нему в штат. Они ставили свои изобретения на поток или модифицировали их. Преобразование было особенно важно в отделах, подверженных влиянию моды, например, в отделе игрушек. Здесь наступила истинная эра Дзаппарони, нечто прежде невиданное: он создал целую лилипутскую империю, живую карликовую вселенную, посреди которой не только дети, но и взрослые в мечтах забывали о времени. Это превосходило любые фантазии. Но это карликовое действо ежегодно к каждому следующему Рождеству требовало новой сценографии и новых действующих лиц.

Дзаппарони платил своим работникам, как платят профессорам и министрам. Они добросовестно отработывали свое жалованье. Увольнение любого инженера означало бы невосполнимую потерю и чуть ли не катастрофу, если уволившийся кадр продолжит свою работу в другом месте на территории страны, а еще хуже – за границей. Богатство Дзаппарони, его монополизм и власть основывались не на одной только промышленной тайне, но на уникальной технике, которую годами разрабатывали уникальные умы. И эту технику создавали рабочие – их руки, их головы.

Увольнялись от Дзаппарони редко, еще бы, при таком королевском вознаграждении. Но исключения все же бывали. Человек всегда чем-нибудь недоволен. Всем известно, старо, как мир. Поэтому и персонал у Дзаппарони был ох какой непростой. Больно уж работа особенная. Многолетнее корпение над мелкими, сложнейшими механизмами оттачивает характеры, формирует вредных эгоистичных существ, которые злятся даже на пыль в солнечном луче и придираются к любой мелочи. Ох уж эти возвышенные натуры, художники, мастера-виртуозы, способные подковать блоху, высокомерные снобы с фантастическим воображением. Технический мир Дзаппарони, уже сам по себе чудной, был населен духами с самыми редкостными странностями. Поэтому кабинет фабриканта часто напоминал приемную психиатра. Осталось, пожалуй, только заменить людей на роботов, чтобы они производили других роботов. А это было бы все равно что изобретение философского камня или квадратуры круга.

Дзаппарони пришлось смириться. Скверный нрав сотрудников относится к сущности предприятия. Фабрикант неплохо справлялся. На производстве он был очарователен и обходителен в обращении с людьми, как итальянский импресарио, и доходил в этом до пределов возможного. Технически одаренная молодежь только и мечтала, чтобы отдать всю себя производству Дзаппарони. Хозяин редко терял самообладание и был неизменно дружелюбен. Однако в определенный момент это доходило до полного безобразия.

Разумеется, Дзаппарони старался себя обезопасить, подписывая контракт с очередным новым сотрудником, пусть даже делал он это самым приятным образом. Все контракты были пожизненные, в них были прописаны и рост жалованья, и премии, и страховки, и выплаты в случае нарушения договора, и конвенциональные штрафы. Кому повезло заключить с Дзаппарони трудовой договор, тот отныне назывался мастером или автором и был кум королю. Он обзаводился собственным домом, автомобилем, катался в оплачиваемый отпуск на Тенерифе или в Норвегию.

Имелись, конечно, и некоторые тонкости. Правда, едва заметные, и касались они, если уж называть вещи своими именами, введения продуманной системы наблюдения. А на нее работало разнообразное оборудование, обозначаемое невинными названиями, которыми нынче маскируют деятельность секретных служб. Одно из этих названий, кажется, бюро расчетов. Дела, заведенные этим подразделением на каждого из сотрудников Дзаппарони, выглядели как полицейские досье, только гораздо подробнее. Сегодня приходится просвечивать человека насквозь, чтобы знать, чего от него ждать, ибо искушения велики.



Ничего в этом нет недостойного. Предусмотрительность во имя доверия есть обязанность тех, кто руководит крупными предприятиями. И тот, кто помогал Дзаппарони уберечь его тайну, существовал на сохранной стороне.

Но что, если один из специалистов решит уволиться по закону? Или просто уйдет, уплатив неустойку? Это и было слабое место системы Дзаппарони. В конце концов, удержать силой он никого не мог. В этом была для него великая опасность. Он был заинтересован в том, чтобы продемонстрировать своим сотрудникам всю невыгодность такого увольнения. Существует множество способов приструнить кого надо, особенно, если деньги не имеют значения.

Во-первых, можно навязать человеку судебный процесс. Некоторым и этого хватало. Но в законе можно найти лазейку, закон давно уже вяло ковыляет за техническим прогрессом. Вот, скажем, что такое авторство? Это, скорее, блеск верхушки коллектива, нежели личная заслуга, авторство нельзя просто так заменить или присвоить. Похожее дело обстояло и с мастерством, которое в течение тридцати-сорока лет развивалось на предприятии и шлифовалось за его счет. Это не могло быть индивидуальной собственностью. Но индивидуум-то – вот он, единственный, неделимый или все-таки делимый? Такие вопросы не решаются грубым полицейским вмешательством. Для этого существуют доверенные должностные лица, пользующиеся известной независимостью. Суть их деятельности нигде не прописана, никем не озвучена, о ней можно лишь догадываться. Интуитивно.

Вот что приблизительно уловил я в намеках Твиннинга. Комбинации. Предположения. Может быть, он знал больше, чем говорил, а может, и меньше. В таких случаях лучше сказать меньше, чем выболтать лишнее. Я и так уже понял достаточно: нужен человек для стирки грязного белья.

Эта работа не для меня. Не стану говорить о морали, смешно, ей-богу, я же прошел астурийскую гражданскую войну. В таких делах невозможно остаться чистеньким, снизу ли ты, сверху, справа ли, слева. Будешь держаться середины – все равно заденет, вернее всего, прямо туда и попадет. Встречал я там таких типов, что своим каталогом грехов пугали даже самых закаленных слушателей. А между тем они и не думали исповедоваться, просто сидели вместе за столом, шутили от души, балагурили, даже восхваляли, как сказано в Библии, свои мерзости. Люди с нежными нервами в этой компании не задерживались. Зато у этого сообщества был свой кодекс чести. Такой работы, какую мне предложил Твиннингс, ни один из них не взял бы, они бы подыскали себе ремесло поприличней, как бы черна ни была их репутация. Иначе их исключили бы из цехового товарищества, отлучили бы от общего стола, из лагеря единомышленников. Их стали бы избегать, при них держали бы язык за зубами, им перестали бы доверять, они не могли бы больше рассчитывать на поддержку товарищей, окажись они в беде.

Следовало бы и мне тогда просто встать и уйти, как только я услышал о Дзаппарони и его сутягах, если бы дома меня не ждала Тереза. Это был мой последний шанс, и она возлагала на эту встречу с Твиннингом большие надежды.

Я мало имею отношения ко всему, что связано с зарабатыванием денег. Не покровительствует мне бог Меркурий. С годами это становится все яснее. Сначала мы жили на мое выходное пособие, потом стали продавать вещи, пока не продали почти все. В каждом доме есть уголок, где прежде стояли изображения пенатов и лар<sup>1</sup>, а теперь там хранят то, что не подлежит продаже. У нас это были мои скаковые призы и другие гравированные штуки, некоторые перешли еще от моего отца. Недавно я отнес их серебряных дел мастеру. Тереза боялась, что мне будет больно расставаться с этими вещами. Напрасно боялась, я был даже рад от них избавиться. У нас ведь все равно не было сына, и хорошо, ну и дело с концом.

---

<sup>1</sup> Пенаты и лары – в Древнем Риме семейные боги-покровители дома, хранители домашнего очага, уюта, благополучия, домовые. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Тереза считала, что обременяет меня. Была у нее такая идея фикс. А мне давно следовало бы начать шевелиться: все мое ничтожество происходило от моего уютного безделья. И оттого, что мне претил любой гешефт.

Вот чего я не выношу, так это роли мученика. Меня бесит, когда меня принимают за доброго человека. А Тереза грешила именно этим. Она повадилась обращаться со мной как со святым. Она видела меня в каком-то ложном свете. Ей бы следовало скандалить, бить посуду, топтать ногами, но увы, это был совсем не ее стиль.

Я еще в школе не любил трудиться. Когда обстоятельства загоняли меня в угол, я притворялся больным, у меня поднималась температура. Это я умел. Валялся в постели, а мать бегала вокруг меня с питьем и компрессами. И мне этот обман ничего не стоил, я только веселился. К сожалению, этот уход, как за больным, меня крайне избаловал. Я становился невыносим, и чем лучше у меня это получалось, тем больше обо мне пеклись.

Так же было и с Терезой. Мне нестерпимо было представлять, какое у нее будет лицо, если я снова приду домой без работы. А она сразу это поймет по моему виду, как только откроет мне дверь.

Наверное, я слишком сгущал краски. Я все еще находился под влиянием устаревших предрассудков, которые мне только вредили. Они пылились в моем сознании, как мои серебряные призы в моем доме, лишь подчеркивая его убожество.

С тех пор как все основывалось на контракте, который не имел отношения ни к чести, ни к совести, ни вообще к человеку, не могло больше быть речи ни о верности, ни о вере. Этому миру не хватало доброты и воспитания. Их перечеркнула катастрофа. Жизнь протекала в постоянном непокое и взаимном недоверии, и что, разве я в этом виноват? Я хотел быть как все, не хуже и не лучше.

Твиннингс увидел мою растерянность и, зная мои слабые места, сказал:

– Тереза обрадуется, если ты придешь уже трудоустроенным.

## 2

Это мне напомнило время в военной школе когда-то давно. Твиннингс сидел рядом со мной. Он уже тогда умел быть посредником и со всеми был на дружеской ноге. Тяжкое было время. Нас держали в ежовых рукавицах. Монтерон нас воспитывал. А с ним не расслабишься.

Особенно тяжело было по понедельникам. Это был день расплаты и суда. В шесть утра с тяжелой головой мы являлись в конюшни. Помню, как хотелось свалиться с лошади и оказаться в лазарете, но пока кости были целы, о лазарете и речи не могло быть. Здесь невозможно было прикинуться больным с легкой температурой, как дома. Монтерон не считал падения с лошади травмой. На падениях учатся, считал он, только кости крепче становятся.

Второй урок проходил в манеже, но до этого редко кто дотягивал. Как правило, Монтерон, он был майор, являлся как архангел, мечущий молнии. И сейчас еще есть, конечно, люди, которых боятся, но таких авторитетов больше нет. Сегодня просто трусят, а прежде боялись еще и своей совести.

Военная школа находилась недалеко от столицы, и те, кому не отменяли отпуск и не запирали на гауптвахте, в субботу верхом или на автомобиле отправлялись в город. Иные оставляли лошадей у родственников, в городе было полно конюшен. Мы все были в блестящей новенькой униформе и при деньгах, потому что в казармах тратить деньги особенно не на что. Не было более красивого зрелища, чем когда открывались ворота военной школы.

Утро понедельника выглядело совсем по-другому. Монтерон еще входил к себе в кабинет, а на столе у него уже лежала пачка неприятных писем, доносов, заявлений и протоколов. Среди прочего и непременно донесение патруля о том, что двое или трое явились из увольнительной позже положенного, а кто-нибудь и вовсе не вернулся еще в казармы. Следовали мелкие замечания: тот курил в присутствии охраны, а этот вяло приветствовал коменданта города. Не обходилось и без скандалов: двое устроили драку в баре и едва не разгромили все заведение, еще один оказал вооруженное сопротивление при задержании. Теперь они в городе сидят где следует, и их надо оттуда вызволять. Два брата, которых отпустили на похороны родственника, проиграли в Хомбурге все деньги.

Каждую субботу на переключке Монтерон изучал наш внешний вид. И если убеждался, что никто не явился в «неправильной форме», – под этим названием он разумел мелкие отклонения и недочеты, – он отпускал нас на волю с кратким напутствием. Он предостерегал нас от искушений. И мы всякий раз разбегались с самыми радужными намерениями, в твердом сознании, что ничего страшного с нами не случится.

Но город – он же заколдованный, это же лабиринт. Он расставляет свои ловушки с чудовищной хитростью. Отпуск распадался на две части, довольно четко разделенные ужином, – на светлую и мрачную. Он напоминал детские книжки, где на одной странице нарисован хороший мальчик, а на соседней – плохой, с той только разницей, что оба мальчика в данном случае объединялись в одном лице. В первой половине дня мы посещали родню, грелись на солнышке у кафе или прогуливались по зоопарку. Иных видели на концертах или даже на лекциях. Мечта Монтерона, да и только: свежие, благополучные, одетые с иголочки, культурные, как в первый день творения. Это была светлая половина отпуска.

Потом наступал вечер со своими договоренностями. Наставал черед уединенных встреч, свиданий с подружками, иногда со многими за один вечер. Выпивали. Расслаблялись. Потом разлетались и встречались ближе к полуночи в ресторане или в английском баре. Потом веселье продолжалось уже в других заведениях, сомнительных или вовсе запрещенных. В венских кафе порхали стайками дамы полусвета и с легкостью завязывались скандалы с наглыми официантами. В больших пивных натыкались на группки студентов, которые сами провоцировали драки. В конце концов ночью оставались открытыми лишь немногие заведения вроде

вокзальных буфетов и «Вечной лампы». Здесь царило пьянство. Здесь доходило до ссор, которые лучше бы не афишировать. Комендатура знала о таких местах, и не случайно патруль оказывался именно там, где становилось горячо. В толпе возникали острия шлемов, и это означало «Спасайся, кто может!», зачастую спастись уже было поздно. Приходилось тащиться за патрулем, и командир отряда ликовал, что снова удалось поймать курсанта военной школы.

Подробности утром в понедельник мог прочесть в своем кабинете майор Монтерон. Их доставляли ранней почтой или передавали по телефону. Монтерон принадлежал к тем начальникам, у которых по утрам особенно дурное настроение. Ему легко ударяла кровь в голову. Приходилось расстегивать воротник формы. Дурной это был знак. Мы слышали его бормотание:

– Невероятно, что творят.

Нам и самим не верилось. Ничто так разительно не отличалось одно от другого, как тяжелая головная боль наутро от образцового блистательного вида накануне. А между тем голова была одна и та же. И нам казалось, что это не о нас говорят – были там-то и там-то, натворили то-то и то-то, – а о ком-то постороннем. С нами такого просто не могло случиться.

И тем не менее, пока инструктор по верховой езде гонял нас по манежу, нас не покидало темное предчувствие чего-то недоброго. Тот, кто опирается на барьер с кнутом в руках, наверняка задумал недоброе. Мы скакали по кругу галопом, как во сне, а голова была занята разгадыванием мрачных ребусов вчерашнего вечера.

Разгадка приходила в лице Монтерона, и это превосходило все наши опасения. События прошлого вечера, разрозненные и наполовину стертые в нашей памяти, являлись теперь в виде самого неприятного четкого целого в исключительно резком свете. Твиннингс, уже тогда отличавшийся оригинальным образом мыслей, как-то заметил, что вообще-то неприлично натравливать трезвый патруль на молодежь, разгоряченную отпуском, – следовало бы уравнивать одних с другими.

Как бы то ни было, редкая неделя проходила без бури. Монтерон давил авторитетом. Искусство, ныне тоже утраченное. Он умел воззвать к нашему осознанному чувству вины. Мы не просто напакостничали, мы своим разнузданным поведением подрываем самые устои государства, монархия в опасности! А ведь отчасти он был прав: публика творила, что хотела, на последствия плевать, свободы для всех хоть отбавляй. Но стоило оступиться курсанту военной школы, как это же самое общество сообща набрасывалось на него. Это было знаком грядущих больших перемен, и скоро они наступили. Монтерон их, судя по всему, предвидел. А мы были просто легкомысленны.

Мне теперь кажется, когда я оглядываюсь назад, что суды в то время были более снисходительны, чем от них ожидали. Мы жили в страхе перед начальником. Пока мы после верховой езды в спешке переодевались, старший по казарме возвещал:

– Готовьтесь к худшему – старик уже расстегнул воротник!

И это было страшнее, чем потом команда «Готовсь!» перед началом атаки.

Вообще-то у старика было золотое сердце. И все об этом знали, оттого и благоговели перед ним. Когда он изрекал: «Лучше год кормить блох, чем один год муштровать курсантов» или «Если король пожалует мне наконец милостыню, значит, я ее добросовестно заслужил», он был прав, потому что служба его была тяжела. Иные облеченные властью радуются чужим неудачам, это же возможность лишний раз показать свою власть. А Монтерону было больно. И мы об этом знали, поэтому тот из нас, кому приходилось совсем туго, мог вечером зайти к командиру и исповедаться. Когда однажды Гронау проиграл огромные деньги, старик ночью поехал в город улаживать дело, но, увы, уже было поздно.

Ладно, он нас так закалял. Закалял оболочку, не повреждая зерна. Утром в понедельник гремел гром и бил град: аресты, отмена отпусков, наряд вне очереди по конюшне, строевая

подготовка в полном обмундировании. Но к полудню тучи рассеивались. А мы особенно старательно несли службу.

Каждый год было два-три непоправимых случая. Происходило нечто такое, чего никаким арестом не исправишь. А старина майор творил чудеса с помощью ареста. Уж чего только не исправлял! Но в этих непоправимых случаях не было и грозы, просто все пребывали в крайне подавленном настроении, как это бывает, когда о случившемся нельзя говорить, только молча переживать. Кто-то приходил, уходил, следовало разбирательство за закрытыми дверями, а потом виновник просто исчезал. Имя его больше не упоминалось, разве что по неосторожности, и тогда все делали вид, что не слышали.

В такие дни старик, которого обычно ни из какого седла не вышибить, был рассеян и потерян. Мог посреди урока умолкнуть и уставиться в стену. Или начинал против своей воли говорить сам с собой, что-нибудь вроде:

– Мог бы поклясться: если стряслась какая-нибудь мерзость, без бабы тут не обошлось.

Все это вспомнилось мне, пока Твиннингс ждал моего ответа. Конечно, мой случай тут ни при чем, и уж конечно, Монтерон ни имел в виду женщин вроде моей Терезы. Хотя ради женщины мужчина действительно совершает такое, чего никогда не сделал бы для себя.

Работа у Дзаппарони как раз и была «нечто такое». Даже не знаю, почему. Бывает же такое предчувствие, подозрение, которое редко обманывает. Это разные вещи – хранить государственную тайну или секрет частного лица, даже в наше время, когда большинство государств, по крайней мере приличных, оказались в тяжком положении. Работа вроде той, что предлагал Дзаппарони, рано или поздно закончится автокатастрофой. И следствие, копаясь в обломках, обнаружит, что погибшему помогли отправиться на тот свет, что это случай не для дорожной полиции. И некролог в газете будет какой-то не такой. И на моих похоронах Терезу будет окружать не самое достойное общество, и уж точно ни одного человека из тех наших счастливых времен. Дзаппарони не явится. И только потом незнакомец передаст в сумерках моей вдове конверт с деньгами.

Моего отца хоронили по-другому. Он прожил спокойную жизнь, но потом что-то пошло не так. На смертном одре он мне сказал:

– Мальчик мой, я умираю как раз вовремя.

При этом с тревогой поглядел на меня. Что-то он тогда предчувствовал.

И еще кое-что пришло мне в голову, пока Твиннингс ждал моего ответа. Невероятно, в такие минуты мысли могут обрушиваться лавиной. Приходится складывать их в одну картину, как художнику.

Я увидел наше голое жилище, погасший очаг, если уместно столь поэтическое описание там, где уже несколько дней как отключили электричество. По почте приходили только предупреждения, и Тереза боялась открывать дверь, страшись кредиторов. Да, тут не до капризов.

Я сам себе был смешон и жалок, как старомодный щепетильный чистоплюй, в то время как вокруг уже давно никто не церемонится и способен урвать выгоду везде, где только представляется возможность, а на меня глядят с презрением. Дважды я вместе с бесчисленным множеством других принужден был расплачиваться за несостоятельность разных правительств. И ни награды, ни славы, а все наоборот.

Настало время отказаться от доисторических предрассудков. Мне снова дали понять, что моя речь изобилует устаревшими пустыми словесами вроде «старые товарищи» или «честь мундира». Жалкое зрелище в наши дни, как жеманство старой девы с ее убогой добродетелью. К черту. Хватит.

В желудке неприятно ныло, должно быть, просто от голода, желчь хлынула в кровь. В то же время Дзаппарони стал мне как будто симпатичнее. Хоть кому-то было до меня дело. Может быть, он, при всей разнице наших положений, находился в схожей ситуации: он тоже расплачивался за чужой банкет, а еще и оказывался виноват. Из него тянули соки, его обкра-

дывали и его же называли эксплуататором. А правительство, которое неизменно прячется за спинами большинства, загребает себе его налоги и позволяет его обворовывать.

Вообще, если «старые товарищи» – это смешно, то с какой стати я должен всерьез относиться к слову «правительство»? Эти типы закрепили за собой право не быть жалкими? Или их не касается обесценивание слов? Остался ли еще кто-нибудь, кто мог бы научить, что есть приличие? Старый солдат больше не старый солдат, вот и ладно, пришло время подумать о себе.

Как видно, я на верном пути – это самое важное, если впутываешься в сомнительное дело. Чудно, ей-богу, нельзя просто так пойти и сделать кому-то гадость. Сначала нужно, чтобы тебя убедили, что этот кто-то гадость заслужил. Даже разбойник, прежде чем обокрасть незнакомого человека, сначала должен с ним повздорить и разозлиться.

Мне это было не сложно, я и так был в самом дурном расположении духа и готов был сорваться на любом, даже ни в чем не виноватом. Даже Тереза оказалась среди пострадавших от моей злости, вот до чего дошло.

Я почти решился, но в последний раз попытался увильнуть.

– Не могу себе представить, – сказал я Твиннингсу, – чтобы Дзаппарони дожидался именно меня. Его наверняка одолели претенденты, он замучился выбирать.

Твиннингс кивнул:

– Ты прав, к нему очередь. Но на такую работу трудно найти человека. Большинство слишком рьяно берется за дело. – Он улыбнулся и добавил: – Люди-то все ранее судимые.

При этом он сделал жест, как будто листал досье, и повторил это движение, словно рыбак, который поймал щуку в тихой воде. И снова наступил мне на больную мозоль. Я совсем помрачнел.

– У кого же нынче нет судимости? Разве что у тебя, ты ведь всегда был праведником. А иначе разве кто смог уйти с войны чистеньким?

Твиннингс засмеялся:

– Не горячись, Рихард. Мы все знаем, что и на твоей репутации есть пятна. Но есть существенная разница: тебя судили по чести.

Разумеется, он знал, он же участвовал в том суде чести надо мной, не в первом, когда на меня повесили подготовку государственной измены, сразу после приговора военного трибунала. Я тогда был в Астурии, повезло. А во втором, когда меня оправдали. Но что проку от таких судов чести, кто судьи? Их честь разве не вызывает никаких сомнений?

Меня реабилитировали такие, как Твиннингс, который сам благоразумно прятался у своей английской родни. И кто из нас после этого изменник? Приговор, однако, так и остался у меня в документах. Это правительства меняются, а личные дела – они незыблемы. Вот парадокс: то, что я рисковал своей жизнью, было воспринято и зафиксировано в государственных бумагах как предательство. Произнося мое имя, гиганты чиновничьей бюрократии, взошедшие на свои места по спинам таких, как я, кривили рожи.

Кроме этих крупных дел, в моем досье значились и еще некоторые мелочи, чего греха таить. Мало ли глупостей можно наделать по молодости, когда живешь слишком благополучной жизнью, да еще в эпоху монархии. Например, вызов на дуэль. Или осквернение памятника – тоже одно из старорежимных выражений, из прежних правил приличий, просочилось в те времена, когда и памятники-то уже не памятники. Мы тогда просто опрокинули бетонную колоду с чьим-то именем, уже и не помню чьим. Во-первых, мы были пьяны, а во-вторых, нынче ничто так легко не забывается, как чье-нибудь имя, которое вчера еще было у всех на устах, и как великие, в честь которых называют улицы городов. Им с нездешним рвением ставят памятники еще при жизни.

Это правда: мне все это повредило, а при этом было совершенно бессмысленно. Я старался больше об этом не думать. Зато у других была превосходная память.

Значит, Твиннингс полагал, что меня судили по справедливости. Но чтобы и Дзаппарони считал так же – вот это меня совсем не устраивало. Потому что же это получается? Получается, что фабрикант желает взять к себе на работу человека с темным прошлым, с запятнанной репутацией. Ему нужен надежный доверенный человек, который был в прошлом и не надежен, и обманул доверие.

В народе о подобном экземпляре говорят: с таким хорошо лошадей воровать. Поговорка, должно быть, из тех времен, когда воровать лошадей считалось делом опасным, но вовсе не сомнительным. Повезет – станешь знаменит, не повезет – болтаться тебе в петле, другого не дано.

Довольно верно подмечено насчет конокрадства. Но есть все-таки небольшая разница: допустим, Дзаппарони нужен человек, с которым можно красть лошадей, только ведь фабрикант сам воровать не пойдет, мелко для него, не его масштаб, воровать придется идти за него. А что это меняет? Для людей в моем положении больше подходит выражение «Голод – не тетка». Так что я ответил Твиннингсу:

– Ну, ладно, я готов попробовать, тебе видней. Может, он меня и примет. Но я тебе скажу, как старому товарищу, в грязных делишках я не участвую.

Твиннингс меня успокоил. Речь ведь идет о крупнейшей мировой фирме, а не черт знает о чем. Обещал позвонить сегодня же. У меня неплохие шансы. Тут в дверь позвонили, и вошел Фридрих.

Фридрих тоже уже состарился, сгорбился и облысел. Лысину его окружал реденький белоснежный венчик из оставшихся волос. Я знал его еще с тех незапамятных времен, когда он содержал в чистоте короткие штанишки Твиннингса. Когда к Твиннингсу приходили гости, Фридрих встречал в передней. Обычно в руках он держал инструмент, превратившийся уже в музейный экспонат, под названием коронарные ножницы. Они защищали от пятен одежду, когда чистили пуговицы. Вот, думайте об этом Твиннингсе, что хотите, но то, что он десятилетиями держал при себе своего камердинера, – это его большой плюс.

Фридрих вошел, лицо его осветилось улыбкой. Благостный момент, минута гармонии. Как будто вернулась беспечная наша юность. Господи, до чего же с тех пор изменился мир. Стареем, стареем. Всякое поколение превозносит свою молодость. Но у нас-то было по-другому, как-то отвратительно по-другому. Разумеется, при Генрихе IV, при Людовике XIII или при Людовике XIV служили по-разному. Но служили неизменно верхом на лошади. И вот эти великолепные животные вымерли, исчезли с улиц и дорог, из деревень и городов и уже много лет никого не несли в атаку. Их повсюду заменили автоматы. Соответственно изменились и люди: стали механическими, предсказуемыми, иногда мне вообще казалось, что меня не люди окружают. Прежде слышалось что-то старинное, вроде звука трубы с первыми лучами солнца и ржания лошадей, отчего сердце сладко сжималось. Все теперь в прошлом.

Твиннингс заказал завтрак: тосты, ветчину, вареные яйца, чай, портвейн и еще много всего. Он всегда обширно и щедро завтракал, как это водится у позитивных натур. Он не так был подвержен невзгодам нашего времени, как я и многие другие. Люди вроде Твиннингса всегда при деле, всегда нужны и почти ничем не жертвуют, ничего и никогда не принимают близко к сердцу. Правительства проходят мимо них. Любые перемены проскальзывают, едва задевая. Он судил меня тогда вместе с другими. Судьба, видать, у меня такая: меня судят те, ради кого я подвергался опасности.

Он налил мне портвейна. Я осушил бокал залпом.

– Твое здоровье, старый ты торгаш.

Он засмеялся:

– У Дзаппарони и ты будешь жить не хуже. Давай Терезе позвоним.

– Очень мило, что ты о ней подумал, но ее сейчас нет дома, она пошла в магазин.



На самом деле у нас просто отключили еще и телефон. Но я Твиннингсу не признался. Зачем соврал? Его бы это даже не удивило. Он наверняка уже все знал. И что у меня желудок ныл от голода. Хитрый лис. А завтрак-то мне не сразу предложил, выдержал паузу.

После всего сказанного никому, разумеется, не пришло бы в голову, что Твиннингс старался для меня задаром. Со старых товарищей он только комиссионных не брал, вот единственное исключение. Он вычитывал их с деловых партнеров. Людям вроде Дзаппарони его услуги обходились не дорого.

У Твиннингса был добротный бизнес, который даже и не выглядел как бизнес. Просто Твиннингс знал бесчисленное множество людей и умел извлечь из этого пользу. У меня тоже было много знакомых, но от этого не было никакой экономической выгоды. Одни расходы. А вот Твиннингс знал меня и Дзаппарони, и из этого для него вышел гешефт. При этом ему почти не приходилось работать, и образ жизни он вел самый приятный и размеренный. Он проворачивал дела за завтраком, за обедом и ужином, во время визита в театр. Есть люди, к которым деньги сами текут, таким неведомы проблемы большинства окружающих. Твиннингс принадлежал к таковым, другим его никто никогда не знал. Ему с самого начала повезло с богатыми родителями.

Но я не хочу выставлять его в таком неприглядном свете. У всех свои слабости и достоинства. Он, например, совсем не обязан был делать то, что сделал после завтрака: вышел и вернулся с пятидесятифунтовой банкнотой, которую вручил мне. И ему не пришлось меня уговаривать принять ее.

Без сомнения, он не хотел, чтобы я являлся к Дзаппарони в таком обшарпанном виде. Но было и еще кое-что: старая дружба. Школа Монтерона, которая ни для кого не проходила впустую. Как часто мы его проклинали, по вечерам падая от усталости по кроватям после дня службы на ногах, верхом, в конюшнях и бесконечном манеже. А Монтерон любил еще подбавить: зная о нашей отчаянной усталости, поднимал нас по тревоге среди ночи на новые учения.

И надо признаться, вялая плоть превращалась в стальные мускулы, так кусок металла на наковальне у опытного кузнеца очищается от шлаков. Даже лица у нас менялись. Мы выучились ездить верхом, фехтовать, нападать и многому другому. Научились на всю жизнь.

Навсегда остались следы его воспитания и в характере. Монтерон не выносил, когда кто-то бросал товарища в беде или подставлял его. Случалось кому-нибудь выпить лишнего и угодить в историю, первый вопрос Монтерона был всегда – кто еще был в компании? И тогда помогай бог тому, кто бросил друга одного или не позаботился о нем, как о малом дитяти. Никогда, ни при каких обстоятельствах никого не бросать, ни в большом городе, ни на поле боя – по такому правилу жил Монтерон сам и в нас то же самое вколачивал, будь то на манеже, будь то на маневрах или в те ужасные понедельники. И как бы мы ни были легкомысленны, Монтерон не зря старался, этого не отнимешь.

Когда вечером, перед тем как вернуться в полк, мы задерживались у майора – а веселиться он тоже умел, – это был не обычный ужин. Он, бывало, говаривал:

– Пусть никто из вас не хватает звезд с неба, выше головы не прыгнешь, но среди вас нет такого, на кого король не мог бы положиться. А это, в конце концов, самое главное.

В тот вечер никто много не пил. Тогда стало ясно, что у старика в жизни есть что-то очень важное, больше, чем король, больше, чем служба. И он этим с нами поделился. И это осталось с нами на всю жизнь, а может, и дольше. Даже тогда, когда уже никто не помнил, кто такой король. Уже и самого Монтерона забыли – мы были последним его курсом в военной школе. Он пал одним из первых, наверное, в ту ночь под Люттихом<sup>2</sup>. Из его учеников тоже мало кто остался в живых.

---

<sup>2</sup> Штурм Льежа (нем. Люттих) – военная операция во время Первой мировой войны, в ходе которой 4 августа 1914 года германская армия штурмом взяла укрепленную бельгийскую крепость Льеж.

Но у тех, кто еще остался, все еще заметны были признаки его воспитания. Мы встречались раз или два в году посреди города в закоулках маленьких кафе, которые с годами совсем не меняются, сколько бы их ни перестраивали. Неизбежно, как сквозь артиллерийский огонь, возникало имя Монтерона, и снова воцарялось то настроение, что было во время наших прощальных ужинов в полку.

Даже у таких дельцов, как Твиннингс, заметно было влияние старого майора. Монтерон однажды сказал ему:

– Твиннингс, наездник из вас ни к черту.

Горькие слова. Убежден, что Твиннингс через себя перешагнул, когда увидел меня сидящим у стола, как бедный родственник, и тут же принес мне деньги. Это было противно его натуре, но по-другому он не мог. Он заставил меня вкусить горький плод, но в нем тут же заговорил Монтерон. Твиннингс вспомнил то главное, что вдалбливал в нас Монтерон, – а именно, что я-то был на фронте, пусть и не самом солидном, а он-то отсиживался в резерве.

Итак, мы договорились, и Твиннингс проводил меня до двери. Тут кое-что вспомнил:

– А кто раньше занимал эту должность?

– Тоже один итальянец, Каретти, но его уже месяца три нет.

– Ушел на покой?

– Вроде того. Пропал, исчез бесследно, и никто не знает, где он.

### 3

Это было в субботу. А в понедельник утром я на такси ехал на завод. Твиннингс похлопотал обо мне немедленно. Дзаппарони, естественно, работал без выходных.

Тереза привела в порядок мои вещи, воодушевленная новостями. Она уже видела меня на одной из верховных должностей в фирме с мировым влиянием. Если и было чему радоваться в этой истории, так это восторгам моей жены. Тереза относилась к тем женщинам, которые превозносят своих мужей и приукрашают их достоинства. Она была обо мне слишком хорошего мнения. Так ей, видимо, было необходимо. На себя она могла махнуть рукой. У нее была идея фикс, будто она мне только мешает, отягощает, вредит мне. На самом деле все было наоборот. Если и оставался в этом безрадостном мире еще для меня какой-то родной уголок, то это подле нее.

В последние годы, когда нам все больше приходилось туго, по ночам я чувствовал рядом легкое подрагивание: так вздрагивает женщина, когда пытается унять слезы. Я тогда прикинул к ней и слышал всякий раз одну и ту же песню: лучше бы ей вовсе не родиться на свет, лучше бы мне никогда ее не встретить, она испортила мне карьеру, сломала мне жизнь. Я бы мог ей объяснить, что я сам себе худший враг и сам себе что угодно могу разрушить и сломать, без чьей бы то ни было помощи, но что толку, Тереза не могла расстаться со своими химерами.

А между тем, когда нас превозносят и хвалят, это все-таки вдохновляет и придает сил. Меня же, как я уже сказал, до крайности избаловала моя мать, о которой воспоминания, кстати, незаметно слились с образом Терезы. Мать всегда вставала на мою сторону, когда отец устраивал скандал. Она обычно говорила:

– Наш мальчик совсем не плох.

На что отец отвечал:

– Как был бездельник, так и остался.

– Но он не плохой, – настаивала мать, потому что женщинам всегда надо, чтобы последнее слово было за ними.

Заводы Дзаппарони находились довольно далеко. В каждом городе был либо филиал, крупный или помельче, подразделения, представительства, партнерские и лицензированные фирмы, склады, ремонтные мастерские и станции технического обслуживания. Я же ехал на головной завод, великую кузницу моделей, которая год за годом как из рога изобилия осыпала мир новыми чудесами. Здесь жил и сам Дзаппарони, когда не уезжал в путешествие.

В субботу пришла телеграмма от Твиннингса: меня ждут на собеседование. В воскресенье мне еще удалось разыскать семейного врача того самого Каретти, мне не давало покоя то, что сказал Твиннингс, когда провожал меня. Беседа с врачом меня успокоила. Он был уверен, что не выдаст никакой тайны, если расскажет мне, что случилось с Каретти. Это и так было известно. Как многие из этих дзаппарониевских склочников, Каретти с годами все больше чуднел, пока не тронулся умом. То, что врачи именуют «манией точности», прибавилось у Каретти к мании преследования, а чудеса техники, производимые на заводе, только усугубили недуг. Такие пациенты полагают, что утонченные высокотехнологичные машины угрожают их жизни, и жизнь таких больных постепенно превращается в сюжет с полотен средневековых мастеров. Каретти отмахивался от крошечных вредоносных самолетов. Подобные пациенты часто исчезают без следа и больше не появляются.

Врач, маленький нервный психиатр, припомнил случай, когда останки одного пациента спустя много лет обнаружили в барсучьей норе. Больной залез туда и там покончил с собой. Другой рухнул с вершины старой ели. Тело нашли лишь спустя время. Доктор оказался разговорчивым и с таким увлечением в подробностях описал симптомы, что мне по дороге домой стало казаться, что и у меня такие найдутся. Но вообще-то он меня успокоил.

Заводы были видны издалека: приземистые белые башни и плоские цеха на обширной территории, никаких вышек и дымовых труб. Цеха, мастерские и окружающие стены пестрели бесчисленными афишами. У Дзаппарони было еще одно побочное, но особенно любимое производство – кинематограф, который он с помощью своих роботов и аппаратов довел до почти сказочного совершенства.

По некоторым прогнозам, наша техника однажды превратится в чистейшее волшебство. Тогда бы многое происходило в мире само собой, без нашего участия, а механика дошла бы до такой тонкости, что обходилась бы без грубого постороннего вмешательства. Достаточно было бы света, слова, даже мысли. Система импульсов пронизала бы весь мир.

Фильмы Дзаппарони таким прогнозам явно соответствовали. Старым утопистам и не снилось. Автоматы достигли невероятной свободы и изящества. Это было воплощением давнишней мечты человечества о мыслящей материи. Эти фильмы околдовывали. Детей вообще завораживали. Дзаппарони развенчал старые сказочные фигуры, как рассказчик в арабском кафе, когда он опускается на ковер и перевоплощается в сказку. Так же и Дзаппарони разворачивал свои полотна. Он творил романы, которые можно было не только читать, слушать и видеть, в них можно было войти, как входят в сад. По его мнению, природе не хватало красоты и логики, а он способен это восполнить. Он разработал стиль, к которому и приспосабливались и живые актеры, даже брали его за образец. У Дзаппарони действовали восхитительные куклы, воплощались волшебные мечты.

За эти фильмы Дзаппарони обожали, как доброго дедушку-сказочника с окладистой белой бородой, как раньше Санта-Клауса. Родители даже жаловались, что дети им чересчур увлечены, после его фильмов слишком возбуждены, долго не могут уснуть, спят беспокойно. Но жизнь повсюду тяжела. Она сформировала нашу расу, тут уж ничего не поделаешь.

Афиши таких вот фильмов и покрывали сверху донизу стены, окружавшие фабрику. Вдоль всей стены протянулась дорога шириной с поле. Без пестрых плакатов стены выглядели бы, конечно, слишком буднично и походили бы на крепостные, особенно из-за узких белых башен по углам. Над всем заводским комплексом завис желтый воздушный шар.

На подъезде к воротам яркий дорожный знак возвестил, что мы въезжаем в закрытую зону. Водитель обратил на это мое внимание. Здесь надо было ехать медленно, запрещалось провозить оружие, лучевое и оптическое оборудование, необходимо снять прорезиненную верхнюю одежду и солнечные очки. Шоссе вдоль заводских стен было шумное и оживленное, съезды и повороты в сторону фабрики – напротив, пусты.

Уже можно было яснее разглядеть плакаты. Они представляли путешествие Хайнца-Отто к королеве муравьев – визит Тангейзера на гору Венеры, адаптированный для детей. Роботы Дзаппарони здесь представляли как могущественные и богатые карликовые существа. Чудеса подземных дворцов не выдавали ни намек на технические усилия. Фильмы продолжались в течение всего года и делились на двенадцать серий, и дети не могли дожидаться выхода продолжения. Детское поведение и склонности определяла коллективная игра: то полет в космос, то исследование пещер и подземелий, то служба матросами на подводной лодке, то охота на крупного зверя. Этими техническими сказками и приключениями Дзаппарони вызывал великое и постоянное восхищение. Дети жили в мире, им сотворенном. Взгляды родителей и педагогов расходились. Одни полагали, что дети так учатся играть, другие опасались, как бы детки не перегрелись от такой игры. Как бы то ни было, иногда можно было наблюдать странные и тревожные последствия. Но время же не остановить. В конце концов, реальный мир не более ли фантастичен? Где дети скорее перевернутся?

Мы заехали на парковку для сотрудников. Мое такси рядом с их лимузинами выглядело, как ворона, случайно залетевшая в фазаний питомник. Я вознаграждал водителя и отправился сообщить о своем прибытии.

Хотя солнце уже стояло в зените, у входа сновали туда-сюда. Да, у Дзаппарони работают господа что надо, рабочее время для них не писано. Приходят и уходят, когда захочется, если только не заняты коллективным созиданием. А это было на заводе редкостью. Однако подобное регламентирование рабочего процесса, вернее, отсутствие всякого регламентирования, было Дзаппарони только на руку. Этика труда на его предприятиях была своеобразная. Здесь ведь творили художники, одержимые своим творением. Не было здесь никакого рабочего времени, здесь работали постоянно. Сотрудники и во сне видели только свои шедевры. Господа, во всем господа, они располагали своим временем, они не тратили его впустую. У них его было больше, чем у богатых людей бывает денег. Их богатство остается у них в руках, когда они отдают новое творение. Их богатство ощущается в манере держаться.

Входящие и выходящие одеты были в белые или цветные пальто и проходили, как к себе домой, как совершенно свои, а между тем ворота и проходная охранялись. Я увидел небольшие группы людей, какие встречают пассажиров на борту судна. Обычно это матросы, стюарды и другой персонал, который исподтишка, но очень пристально оглядывает отъезжающих. Ворота были широки и высоки. В стене множество входных дверей. Я прочитал таблички «Приемная», «Завхоз», «Охрана» и другие надписи.

Меня явно ждали. Не успел я назвать свое имя, как за мной явился курьер. И повел меня на прием.

К моему удивлению, мы не пошли в заводское здание, а вышли за ворота. Он привел меня на небольшую подземную железную дорогу, выходящую на парковку. Мы сели в крошечный вагончик, ходивший по рельсам и походивший в управлении на лифт. Через две минуты мы остановились перед старинным зданием, окруженным парковой стеной. Это было частное жилище Дзаппарони.

Я думал, меня отведут в отдел кадров и потом, если собеседование пройдет удачно, вероятно, к начальнику отдела кадров – меня же рекомендовал сам Твиннингс. Поэтому у меня дух захватило, когда вдруг я прямо из-под земли оказался в святая святых, в обители человека, само существование которого – миф, коего, как говорят, может, и не существует вовсе, а на самом деле он – просто одно из гениальных творений заводов Дзаппарони. По лестнице уже спускался дворецкий.

– Господин Дзаппарони ждет вас.

Да, я, без сомнения, находился в резиденции Дзаппарони. Головной завод его располагался прежде на другом месте, пока хозяин, утомленный вечным строительством и реорганизацией, не решил обосноваться здесь по своему новому представлению о совершенстве, которым отличались все его творения – и большие, и малые. Когда выбирали территорию под застройку, неподалеку обнаружился цистерцианский монастырь, давно переданный в общественное пользование и почти не востребованный. Церковь и главное здание пали жертвой времени, но стены и рефекторий сохранились. В рефектории располагалась большая монашеская трапезная, кухня, кладовые и гостевые кельи. В них-то Дзаппарони и поселился с поистине державным размахом. Я как-то видел фотографии в одном иллюстрированном журнале.

Ворота в стене были заперты. Хозяин и его гости входили в дом и покидали его через подземную железную дорогу. Я обратил внимание, что мы вышли совсем не на конечной станции. Может быть, рельсы вели дальше, на сам завод.

Четкая регламентация давала возможность Дзаппарони спокойно существовать на своей территории и контролировать посетителей. Хозяин был защищен от назойливых репортеров и фотографов. Он никогда не выходил из тени, оберегал свою таинственность и не афишировал привычки. Уж он-то знал, до чего может довести неуправляемая пропаганда. Пусть о нем говорят, но намеками, неопределенно. То же самое касалось и его творений, которых иногда почти не видно. Специалисты обеспечивали строгий отбор изображений Дзаппарони в прессе и информации о нем.

Шеф его пресс-службы выстроил целую систему косвенных репортажей, разжигавших всеобщее ненасытное любопытство. Человека, о котором знают нечто необыкновенное, но при этом никто никогда не видел его лица, воображают прекрасным, царственным. О человеке, о котором много говорят, толком не зная даже, где он живет, придумывают бог знает что. Он становится удивительно многолик. Личность, могущественная настолько, что о ней не осмеливаются говорить, становится вездесущей, потому что проникает в самую нашу суть. Нам кажется, будто это существо способно подслушивать наши разговоры и не спускает с нас глаз, пока мы прячемся в наших жилищах. Имя, которое произносят шепотом, обладает большей властью, нежели то, что выкрикивают на площадях. Дзаппарони все это знал. Но пропагандой при этом никогда не пренебрегал. Он использовал ее, чтобы загадывать загадки и удивлять. Это была целая новая система.

Страшно мне было, скрывать не стану, особенно когда дворецкий провозгласил:

– Господин Дзаппарони ждет вас.

Я почувствовал это резкое несоответствие между сильными мира сего и теми, кому нечем оплатить обратное такси. Мне внезапно показалось, что я слишком ничтожен для такой встречи. Верный признак социальной деградации, новое ощущение. Всадник легкой кавалерии ни в коем случае не должен так чувствовать. Монтерон нам часто об этом говорил. И прибавлял:

– Только когда капитан покидает корабль, судно остается на волю божью. Но настоящий капитан идет ко дну вместе со своим кораблем.

Он имел в виду самосознание суверенной личности.

Мне вспомнились его слова, когда у меня задрожали колени. Я подумал вообще о старых временах, когда плевать нам было на этих сталелитейных и угольных королей, о кинематографе и автоматах тогда и вовсе речи не шло, разве что живые картинки на ярмарке. Мелкопоместный землевладелец с неопределенным будущим и долгами, что не дают ему спать, скорее мог бы стать своим в легкой кавалерии, нежели те, кто разъезжал на первых авто и только лошадей пугал. Лошади чуяли, что грядет. Мир с тех пор вывернулся наизнанку.

Если Дзаппарони нашел время меня принять, значит, я гожусь ему в собеседники. Эта мысль меня несколько вдохновила. Могу ли я общаться с ним на равных? Когда, например, бедную девушку берут на работу в крупную фирму сортировать документы, стенографировать и печатать на машинке, она, скорее всего, никогда не увидит хозяина компании в лицо. Она ему не ровня. Возможно, когда-нибудь они увидятся с шефом на каком-нибудь курорте или в ресторане. Это тут же прибавит ей значимости и убавит уважения. Она станет партнером и поднимется по должностной лестнице. В ее положении убавится законности и прибавит беззакония.

Если Дзаппарони принимает меня, голодающего отставного кавалериста, в своем доме, что-то тут не так. Со мной ведь каши не сварить. От меня мало пользы в конторе или на заводе. Даже если бы я мог блеснуть на предприятии, стал бы он лично обо мне беспокоиться? Значит, ему от меня нужно что-то другое, чего он не может доверить кому-либо другому.

С такими мыслями мне захотелось бежать прочь, но я уже оказался на лестнице. А как же Тереза, как же наши долги, мое убогое положение? Может быть, Дзаппарони ищет именно человека в таком вот состоянии. И если я сейчас сбегу, мне придется об этом пожалеть.

И еще вот что. С чего бы мне быть лучше, чем я есть? Монтерон не занимался философией, он признавал только военную философию Клаузевица<sup>3</sup>. Но было у него любимое выражение от какого-то великого философа, он любил его цитировать: «Есть вещи, о которых я, раз и навсегда, вообще ничего не желаю знать»<sup>4</sup>. Любовь к подобным афоризмам выдавала его

---

<sup>3</sup> Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1780–1831) – прусский военачальник, военный теоретик и историк. В 1812–1814 годах служил в русской армии. Своим сочинением «О войне» произвел переворот в теории и основах военных наук.

<sup>4</sup> Афоризм Фридриха Ницше: «Я не хочу, говорю это раз и навсегда, знать слишком много. Уметь ограничивать познание – это тоже мудрость» («Ich will, ein für alle Mal, Vieles nicht wissen. Die Weisheit zieht auch der Erkenntnis Grenzen»).

прямолинейный, одноколейный нрав, безо всяких тонкостей и околичностей. Никакого тебе «Все понять – значит простить»<sup>5</sup>. Такие ограничения – признак не только мастера, но и этического человека.

Хотя я многому научился у Монтерона, в отношении познания я не стал ему следовать. Напротив, мало найдется на свете вещей, куда бы я не сунул свой нос. Но свою природу не перебороть. У моего отца тоже не получилось. Всякий раз, когда мы обедали не дома, он протягивал мне меню со словами:

– Удивительно, этот мальчик всегда заказывает точно самое несъедобное. И это в таком прекрасном меню.

И правда, у Кастена кормили отменно. Там всегда обедали курсанты кавалерийской школы. Но читать меню – это так скучно. Я изучил раздел с бамбуковыми ростками и индийскими деликатесами. Мой старик сдался и сказал матери:

– В кого он такой? Уж точно не в меня.

И опять он оказался прав, хотя и у матери вкус был добрый и простой. Можно ли вообще унаследовать подобные курьезности, спрашивается. Мне кажется, они, скорее, воспитываются, как умение выигрывать в лотерею.

А что касается меню, то блюда, в нем перечисленные, всякий раз меня только разочаровывали. Позже, в путешествиях, то же самое происходило с утонченными иноземными деликатесами, а я их редко пропускал. Сомнительные заведения и пивные, кварталы с дурной репутацией, непристойные антикварные лавки неизменно притягивали меня, как магнитом. Я едва не последовал за одним типом, арабом на Монмартре, который заманивал меня к своей сестре. Ничего особенного, в общем-то, но мне вдруг стало до того противно. Никакого желания. Меня в равной степени мучило и от списка блюд с мудреными названиями, и от унижения человеческого достоинства. Мои пороки оставляли мне воспоминания на много лет. Это объясняет, почему я с ними завязал, но загадкой остается, почему снова и снова к ним склонялся. Лишь когда появилась Тереза, я узнал, что пригоршня воды сильнее любой эссенции.

Между прочим, мое любопытство пригодились мне в легкой кавалерии, поскольку главное оружие этого рода войск – разведка. Когда меня посылали на опасную территорию, я выполнял даже больше, чем было приказано и чем требовала тактическая необходимость. Это приводило к неожиданным открытиям и производило благоприятное впечатление на командование на передовой. У всякой ошибки есть свои преимущества, и наоборот.

Как бы то ни было, на лестнице у Дзаппарони я почувствовал, что лезу в какое-то мутноватое приключение, хотя бы и вынужденно. В то же время меня подталкивало вперед и кололо это мое старое проклятое любопытство. Так и подхлестывало выяснить, что задумал этот могущественный старик и зачем я ему понадобился. Любопытство подгоняло меня сильнее, чем даже перспективы большого заработка. Уж из каких только передрыг я в этой жизни не выходил целым, какой еще наживки не отведал, а на крючок так и не попался, где наша не пропадала.

Так что я последовал за слугой по лестнице в старый дом. Он походил на загородную усадьбу. Мы вошли в переднюю, где не только висели пальто и шляпы, но еще хранились и охотничьи ружья, и рыболовные снасти. Потом прошли в холл, возвышавшийся на два этажа вверх, где выставлены были трофеи верховой езды и гравюры лошадей работы Ридингера<sup>6</sup>. Еще два-три помещения, больше, чем комната, но все же меньше залы.

Мы перешли в южное крыло. Меня проводили в библиотеку. Лучи солнца через матовые стекла падали на ковры на полу. На первый взгляд ни одна вещь не выходила за рамки просто богатого интерьера. Меня даже кольнуло разочарование. Если верить газетам, я должен был

---

<sup>5</sup> Афоризм, приписываемый Жермен де Сталь.

<sup>6</sup> Иоганн Элиас Ридингер (1698–1767) – немецкий художник-анималист, живописец и гравер на меди, изображал домашних и диких животных среди пейзажа, достиг редкого мастерства в передаче типов, характера и движения животных.



попасть в страну чудес, где посетителя должны изумить и оглушить всякие технические сюрпризы. Как бы не так. Просчитался! Хотя могу себе представить, что волшебник и господин волшебных автоматов предпочитает не окружать себя ими в частной жизни. Мы ведь привыкли отдыхать как можно дальше от нашей профессиональной сферы. Генералы вряд ли играют в оловянных солдатиков, а почтальоны не станут в воскресный день по доброй воле бегать по городу. Говорят, клоуны в своих четырех стенах вообще серьезны и даже печальны.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.